

Василий Брусянин

Тайна бессмысленного



Василий Васильевич Брусянин

Тайна бессмысленного

Серия «Дом на костях»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9450416

Аннотация

«...Не так давно, в сумрачный осенний день, вышел я из вестибюля Академии художеств с одним моим приятелем, художником Вансоном. Перешли мы мостовую к Неве, почему-то остановились около парапета. Стояли молча и смотрели на тёмные волны реки. Волновалась река после ночного наводнения, – волновалась и не обещала душе покоя и радости.

Шли мы вдоль парапета молчаливые, грустные, подавленные, как будто нас обоих поджидало что-то таинственное. С выставки ушли мы такими безрадостными. Одна картина подавила наши души. Один известный художник пятнами краски, мазками и линиями напомнил нам обоим о тайне Смерти, и все краски жизни слились в одно бесформенное тёмное пятно...»

Василий Брусянин

Тайна бессмысленного

... Не так давно, в сумрачный осенний день, вышел я из вестибюля Академии художеств с одним моим приятелем, художником Вансоном. Перешли мы мостовую к Неве, почему-то остановились около парапета. Стояли молча и смотрели на тёмные волны реки. Волновалась река после ночного наводнения, – волновалась и не обещала душе покоя и радости.

Шли мы вдоль парапета молчаливые, грустные, подавленные, как будто нас обоих поджидало что-то таинственное. С выставки ушли мы такими безрадостными. Одна картина подавила наши души. Один известный художник пятнами краски, мазками и линиями напомнил нам обоим о тайне Смерти, и все краски жизни слились в одно бесформенное тёмное пятно.

Дошли до Сфинксов. Остановился Вансон у громадных изваяний и спросил:

– Всё я хочу кого-нибудь спросить: ну, для чего вывезены эти глыбы из древних Фив? Для нас, людей XX века, эти глыбы – бессмыслица!

Он придержал меня рукою у одного из изваяний и переспросил:

– Ну, ответь мне ты: для чего?

– Бог мой! Ну... для чего... Я не знаю, для чего, легче ответить – почему?

– Ну, а почему?

– Потому, что это красиво. Потому, что это – тайна!

– А-а! Вот это меня удовлетворяет: это – тайна! Сфинксы – тайна! Твоё определение напомнило мне один разговор со знакомым генералом.

Мы миновали Сфинксов и вышли на Николаевский мост. Вансон продолжал:

– Сидим мы с ним в его кабинете, курим сигары. Говорили об опере, о красивых голосах и о милых женщинах, а я думал о войне. Смотрел на бюст Наполеона, который стоял на письменном столе генерала, и думал о войне. Вот и здесь на этой набережной, когда бы я ни проходил, – днём или ночью, зимой или летом, – я всегда вспоминаю... вернее, как будто вспоминаю те самые Фивы, откуда вывезены эти Сфинксы. Никогда я не был на развалинах этого древнего города, а мне представляются песчаная пустыня и южное небо и море песков с раскалённым воздухом. В чертах этих, в сущности, уродов с нашей точки зрения, тайна представлений о том, чего я не видел... Ведь, и на картине этой, которая смутила нас, только представление о Смерти... Не знаем мы, что такое Смерть, а представляем себе её. Не был я на войне, а, глядя на бюст Наполеона, думаю о войне, постигаю её ужасы... Ещё скажу тебе... В провинции у одной богомольной помещицы я видел «чётки». Получила эта помещица чётки от ка-

кого-то схимника Печерской лавры. На толстый шёлковый шнур были нанизаны финиковые косточки, – вот это и были «чётки». Помещица рассказала мне, как тот схимник жил в посте, молитве и уединении. Описала его келью, обстановку, рассказала об образе его жизни, описала наружность. И, когда я взял чётки в руки, мне ясно представились все подробности жизни схимника. От чёток пахло чем-то мистическим, и мне казалось, что вместе с этим запахом я слышу запах монастырского тления... И мне показалось на мгновение, что я сижу в келье схимника и беседую с ним, – сижу, проникнутый его мирозерцанием, верую его верой, люблю его любовью...

– И ещё расскажу тебе об интересном случае... Зазвал меня как-то к себе известный адвокат Дрягин. Ты слышал, конечно, он такой балетоман... У него целый музей вееров, цветов, туфельек и разных безделушек, доставшихся ему от балетных знаменитостей. В большом шкафу со стёклами висят даже два костюма каких-то балерин... И, вот, показывая мне свой музей, Дрягин говорит: «А вот эта туфелька, которую я покажу вам, – большая редкость. Х. Х. – он назвал фамилию известной, уже давно покойной балерины, – танцевала в ней последний раз... На другой день она заболела, а через два дня её задушила грудная жаба, – голос Дрягина дрогнул, но он нашёл в себе силы и добавил. – А вот это – портрет её», – указал он на большой портрет на стене, над турецким диваном. Портрет хранился в роскошной ра-

ме и, видимо, был самой любимой вещью в кабинете хозяина. Я смотрел на редкостную туфельку и бережно держал её в руках. Смотрел я и на портрет и ясно представлял себе Х. Х. танцующей... Вот я представляю себе, как после спектакля она приехала домой, жаловалась на слабость, легла в постель с головной болью и повышенной температурой, а утром близкие её узнали, что она больна... Доктора, может быть, консилиум, лечение, страдание и смерть... Я взглянул на Дрягина. Он стоял с руками, сложенными на груди, и пристально всматривался в портрет, а глаза его были полны слёз. И понял я в эту секунду, что близким к Х. Х. в дни её страдания был именно Дрягин. Когда мы потом уселись на диване под портретом, он рассказал мне, как любил Х. Х., как страдал вместе с нею, когда она была больна... Рассказал, как её хоронили... Ты понимаешь теперь, какова тайная сила вещей, если они близки человеку, которого нет... Вот и эти Сфинксы. Нет того города, где они были, а я ясно представляю себе этот древний город...

– Я отвлёкся, – начал, помолчав, Вансон. – Тот генерал, у которого я видел бюст Наполеона, много интересно рассказал мне о своих, так сказать, военных переживаниях. «Аркадий Петрович, – спросил я его, – почему этот бюст у вас в таком почёте? Ведь, Наполеон, можно сказать, – враг России. Почему у вас нет бюстов Кутузова, Суворова или ещё кого из национальных героев?» – «Видите ли, в чём дело, – отвечал генерал, – Наполеон для меня – абстракция,

идея, что ли... ну, фетиш! В нём и прошлое, и будущее, пока возможна война, а Суворов, Кутузов и другие – только образы минувшего... Гляжу я на бюст Наполеона и ясно представляю себе всю бессмыслицу войны. Он был символ бессмыслицы войны. Наши генералы, о которых вы упомянули, не могли выразить бы этой идеи, потому что в войне для них был весь смысл их существования. Они умерли, и никакое воображение не воскресит их, сколько бы мавзолеев им не создавали, а Наполеон представляется мне таким, какого ещё не было и не будет... Понимаете, я представляю себе, что его ещё не было, он ещё придёт и олицетворит собою нечто большее, чем 12 год, он, так сказать, оконкретизирует моё представление о бессмыслице войны... Если бы я не имел пред собою бюста Наполеона и не понимал бы этого мрачного героя крови так, как понимаю, я не знал бы, для чего я служу генералом. Служить для войны и считать её осмысленной – это – бессмыслица! Понимаете? А служить войне как бессмыслице, это я понимаю... представляю себе... на это я способен... И я служу этой бессмыслице, а, если бы хоть на секунду согласился, что война имеет смысл, я пустил бы себе пулю в лоб. На моей душе много человеческой крови жертв войны: я участвовал в Русско-турецкой войне молодым офицером, я воевал в Маньчжурии, а теперь, в отечестве, обдумал своё прошлое и понял бессмыслицу войны»...

– Что-то я плохо уясняю философию твоего генерала, –

прервал я Вансона.

– А я прекрасно уясняю! – воскликнул Вансон. – Вещи, олицетворяющие собою образ кого-нибудь жившего, как чётки, туфелька этой балерины, бюст Наполеона как выразителя идеи войны, все эти вещи не выражают того, что они напоминают. В свою очередь – они – образы и представления о том, что не может быть освещено разумом человека. И для помещицы, и для Дрягина, и для генерала – все эти вещи, близкие им – тайна бессмысленного... Поверь мне, что, если бы помещица, Дрягин, генерал и я со своими представлениями о Фивах, – все мы нашли смысл в вещах, которые занимают нас, эти вещи утратили бы для нас всякое значение... заметь – **значение**... Помещица утратила бы веру в молитву и, быть может, даже веру в Бога, Дрягин перестал бы грустить о своей возлюбленной, генерал покончил бы самоубийством... А что случилось бы со мною, я не знаю: быть может, я навсегда уехал бы из Петербурга, где хранятся эти бессмысленные Сфинксы, но тайну бессмыслия которых я понял... или я покончил бы самоубийством...

Придержав на голове свою тёмную плюшевую шляпу, которую едва не сорвал ветер с Невы, Вансон продолжал:

– Нельзя, страшно отдёрнуть завесу, скрывающую от нас вещь или явление, лишённые всякого смысла. Пусть лучше останется тайна их, тайна бессмысленного. Это – величайшая из тайн, недоступная ни анализу разума, ни проникновению чувства...

Мы с Вансоном дошли до Ксениинского института и почему-то разом остановились у высокой решётки. Мимо нас прошмыгнул трамвай.

Навстречу нам двигалась траурная процессия. Впереди всех шли факельщики в тёмных балахонах и с фонарями в руках, затем певчие, священники, и, наконец, медленно двигался тёмный катафалк, под балдахином которого белел глазетовый гроб.

– Посмотри, кого-то юного хоронят. Наверно, это была юная чистая девушка...

– Почему ты думаешь? Может быть, юноша?

– Нет, девушка! Посмотри, какой изящный белый гроб.

Вансон снял шляпу, и я последовал его примеру. С непокрытыми головами мы встретили и провожали глазетовый гроб с прахом девушки. Почему-то и я стал думать, что хоронят девушку: мой друг уверил меня в этом.

Вдруг Вансон изменился с лица, и рука его дрогнула. И он бросился от меня к группе мужчин и дам, следовавших за катафалком.

Какой-то молодой офицер отделился от группы провожавших и шёл навстречу Вансону. Вот они сошлись, протянули друг другу руки. В этот момент группа провожавших гроб поравнялась с нами. Дамы в трауре, офицеры и мужчины в цилиндрах смотрели в сторону Вансона, переговаривались, волновались.

Офицер что-то сказал Вансону, и тот пошатнулся. Вот он

поднёс руку к лицу, как будто с желанием смахнуть что-то с глаз. Вот он ещё раз пошатнулся. Офицер взял его под руку. Я поспешил к другу.

– Сергей... Что ты говоришь, Сергей!? Ужели Китти умерла?

– Да... да... Китти...

– Не может быть, Сергей! Твоя сестра?

– Да... да... умерла сестра... Я тебя искал...

Я испугался лица Вансона, и в особенности страшны были его глаза. Лицо мертвенно-бледно, безжизненно, глаза – круглые, большие, и в них испуг и боль, отчаяние и тоска...

– Посадимте его в какую-нибудь карету, – шепнул мне офицер, когда я подхватил падающего Вансона.

Мы повели его к линии следовавших за катафалком траурных карет, остановили одну, никем не занятую, и усадили в неё Вансона.

– Вы побудьте с ним, – вполголоса обратился ко мне офицер, – я пойду к маме, она так убита, не хочет сесть в экипаж, едва тащит ноги.

Офицер втолкнул меня в карету, пожал мою руку, назвал себя, и дверь кареты захлопнулась.

Без шляпы Вансон сидел в углу кареты, закинув назад голову. Глаза его были открыты, но он не видел меня.

– Жорж, тебе не хорошо? – спросил я.

– Молчи! Молчи! – прошептал он.

Я крепко сжимал его беспомощно лежавшую на коленях

руку и молчал.

Но я не мог не думать о моём друге. Сидел он рядом со мною, растерянный, подавленный. Что же это за тайна его жизни? Я знал, что у Вансона есть невеста. Несколько раз назначался день его свадьбы, а потом почему-то откладывался. Я дал ему слово, что буду шафером на его свадьбе, но он не давал мне возможности показать ему мою дружбу и в этой роли. Он обещал познакомить меня со своей невестой, назначал день, когда мы поедem в её дом, чтобы познакомиться с её близкими, и опять это откладывалось. Предстоящий брак Вансона окружён был какой-то тайной, и мне хотелось разгадать эту тайну, но я боялся быть нескромным и всё ждал, когда он сам расскажет. Но Вансон молчал.

– Боже! Боже! – простонал Жорж как беспомощная, убитая душевно женщина. – Я не знал даже, что она умерла. Она! Ты понимаешь, умерла Китти, моя Китти! В последний раз мы из-за пустяков поспорили с ней, и я шутя сказал, что никогда больше не приду к ней... Тут такая история. Я ревновал её к одному офицеру... Часто казалось мне, что я ошибаюсь, а потом мне хотелось, чтобы был повод к ревности и разрыву... Вообще, какой-то сумбур в душе у меня. Лучше не говорить об этом...

Он смолк, надвинул на лоб шляпу и откинул назад голову, и сощурил глаза. И молчали мы, и молча приближались к кладбищу. Я всматривался в лицо Вансона, и меня пугала его бледность, а глаза друга походили на глаза безумного.

И мне казалось, что я в карете везу моего друга на кладбище, где он будет и будет похоронен вместе с Китти.

Когда опустили в могилу глазетовый гроб, Вансон был в каком-то столбняке. Глаза его были раскрыты, но он ничего не видел. Служили литию, священник и певчие пели, но он не слышал их голосов. Так казалось мне, когда я, придерживая его под руку, заглядывал в его глаза. Если бы я и ещё какой-то господин в пенсне не придерживали бы его — он упал бы на землю и так лежал бы на сырой земле с открытыми глазами.

Вечером того же дня с Вансоном случился нервный припадок. Я, офицер Евгений Васильевич, брат Китти и доктора, мы долго возились с больным, пока всё в уютной квартире Вансона успокоилось.

Когда доктора ушли, и Вансон лежал в спальне, а мы с офицером сидели в мастерской моего друга, мне казалось, что, если я не узнаю тайны из жизни своего друга, то не буду иметь права называть себя его другом. Вглядываясь в лицо офицера, вслушиваясь в его голос и разбираясь в том, как неохотно говорит он обо всём, что не касалось драмы в их семье, — я догадывался, что и офицеру хочется высказаться. Он несколько раз смотрел на свои карманные часы и всё твердил, что надо спешить к матери, и опять оставался сидеть. Офицеру нужно было говорить о тайне в жизни Вансона, мне надо было разгадать эту тайну. В ней и только в ней можно было найти средства, которыми можно бы было

излечить больную душу моего друга.

Евгений Васильевич сидел у большого рабочего стола Вансона и молчал. Лицо его было утомлённое и грустное, в глазах всё ещё не рассеявшиеся испуг и печаль. Ясно было, он искренно относился к несчастью в жизни нашего общего друга, и это приближало меня к брату Китти.

И, вот, Евгений Васильевич спросил меня:

– Вы очень дружны с Вансоном?

– Да... Я с детства знаю его, мы вместе учились в гимназии и вместе проходили Академию.

– Странный он, право, какой-то. Когда заболела Китти, я примчался к нему, не застал его, оставил письмо и ждал, что он приедет... Как же не приехать: они так любили друг друга. Китти так хотела его видеть, молила найти его, привезти... Потом я узнал, что он уехал куда-то в Финляндию.

– Он, действительно, уезжал, – подтвердил я. – Вернулся только вчера, и мы вместе с ним ужинали в «Вене», потом он поехал ночевать ко мне. Мы целую ночь проспорили об искусстве и картинах, утром вместе отправились на выставку, чтобы разрешить спор. Вместе вышли из Академии и опять готовы были начать спор уже на новую тему... Он такой спорщик... Но, вот, на улице встретили процессию...

Мои слова, по-видимому, что-то уяснили офицеру, и он быстро вскочил со стула и забежал по мастерской. Вот он схватил со стола два письма – в одинаковых конвертах – и воскликнул:

– Стало быть, он не видел моего письма? Он не видел письма Китти? Посмотрите – они не вскрыты до сих пор. Она едва могла написать ему пять-шесть слов... Боже, какая это трагедия!..

Сжимая руки, офицер прошёлся по комнате, остановился около меня и сказал:

– Я ничего не могу понять. Я не могу разгадать Жоржа... Вансона... Китти так любила его, а он... и он любил... Мама так хотела этого брака, и он хотел, я люблю Жоржа... И вот эти, его странные идеи разбились счастье всех нас... Ведь, вы, наверное, слышали, мы не раз назначали день свадьбы и всё откладывали. Вансон под различными предложениями уговаривал нас согласиться на оторочку. И, чем больше он просил об этом, тем нежнее любил Китти и всех нас. Наконец, на днях... Впрочем, неделю назад... я поехал к нему с категорическим предложением: или свадьба, или я просил его навсегда оставить наш дом... Он был сражён моим предложением, просил повременить, я пригрозил ему, что за эту комедию он может ответить мне поединком. Он бросился к моим ногам, на коленях умолял меня – подождать ещё немного... Он уверял меня, что... Я затрудняюсь рассказать вам. Я не знаю, как рассказать об этой его странной идее, с которой он носился и называл свой сумбур **тайной бессмысленного**... И говорил, что если он женится на Китти, то познает тайну бессмысленного... и тогда ему останется только покончить с собой, и что без любви к Китти он

не может жить... Он и Китти заразил своей идеей, и она стала бояться брака, и вот... вот... Я не знаю, могу ли я вам сказать...

Евгений Васильевич отошёл от меня к окну и засмотрелся на тёмную ночь, там за окном, и как будто во тьме ночи хотел найти ответ на вопрос о тёмной, странной, непостижимой идее Вансона. Вот он повернулся ко мне, пристально всмотрелся в мои глаза, потом подошёл ко мне ближе, подал руку и сказал:

– Дайте мне вашу руку... Ради Бога, всё, что я скажу, пусть будет между нами... Только я знаю, что Китти писала ему... Она отравилась... понимаете – отравилась! А когда её привели в чувство, она кричала: «Жить хочу! Жить хочу!» Она просила меня съездить за Жоржем. И я два дня искал его по Петербургу, хотел ехать в Финляндию, но никто не мог сказать мне, где он был...

– Боже, Боже! – воскликнул я. – Если бы вы спросили меня, я сказал бы... Я знал, где он был...

– Вы знали, где он был?

– Да, да... Но я не знал вас, я не знал, что вы ищете его...

В глазах офицера вспыхнул недобрый огонёк, но он скоро овладел собою и воскликнул:

– Конечно, вы здесь ни при чём. Вы не знали, что нам... Китти нужен был Жорж... Если бы мы его нашли, Китти не умерла бы... Не дождавшись она вторично покусилась на свою жизнь, и вот... мы не знали когда, ночью, она умер-

ла... утром её нашли похолодевшей в её комнате...

* * *

Часа в два ночи офицер уехал. Жорж спал тихим сном ребёнка, и только на лице его, с плотно сомкнутыми ресницами, лежала печать муки, сделавшей это лицо жёлтым, исхудавшим за несколько часов страдания и отчаяния.

Я лежал в его мастерской на оттоманке. У изголовья моего, на стуле горела свеча, в руках у меня была новая книжка любимого журнала, но я не мог читать. Тушил свечу и силился заснуть, но и этого мне не удавалось. И опять я зажигал свечу и лежал одиноко в большой комнате. Чёрные молчаливые тени лежали в углах мастерской. Стояли мольберты с картинами и этюдами Вансона, и их облекали тени молчаливой, унылой, страшной ночи. И за картинами лежали тени, и в тёмное не занавешенное, большое окно смотрела поздняя молчаливая ночь...

Я прошёл в комнату, где спал Жорж, успокоенный каким-то аптекарским снотворным снадобьем... Он спал тихо, дышал спокойно и легко и только иногда задерживал дыхание, и мне казалось, что его бледные губы селятся произнести что-то, прошептать какую-то тайну его души, успокоенный в странном почти искусственном сне.

На столе, под зелёным абажуром горела лампа. Её свет был заслонён картонкой из-под цилиндра, и Жорж лежал

в полосе большой тени, странным, перекошенным четырёх-угольником расплзшейся по стене.

Я вернулся в мастерскую, подошёл к столу. Мне захотелось посмотреть на письмо Китти... Но письма этого не было, офицер увёз его. Лежало письмо, адресованное Жоржу... Я взял в руки белый изящный конверт, запечатанный конверт с тайнами мук молодого, славного брата покойной Китти. И муки Китти запечатаны были в этот конверт: офицер в волнении писал Вансону, а близ него Китти томилась и жаждала свидания с Вансоном... Мне казалось, что это было именно так...

На другой день доктора уверили меня, что с Жоржем ничего страшного не случится: его сильный организм поборол муки души, и ближайшее будущее не могло ничем омрачить меня и близких Вансона.

На прощанье Жорж подал мне руку и спросил:

– Ты зайдёшь сегодня вечером?

– Да, зайду...

– Зайди, мой милый. А то мне так нехорошо, так страшно оставаться одному вечером... ночью... Никому не говори, что я заболел... Пусть никого из посторонних не пускают ко мне...

Когда я дошёл до двери, он окликнул меня:

– Подожди ещё минуту...

Я вернулся к его постели.

– Теперь ты должен понять, что значит – постичь тайну

бессмысленного?

Я молчал.

– Подойди ближе...

Я подошёл вплотную.

– Я думал, что, когда мы с Китти обвенчаемся, я познаю тайну бессмысленного и разлюблю её... ведь, брак – бессмыслица. Я предлагал ей сойтись, чтобы узнать, что это такое – брак? И, вот, природа наказала меня глубоким смыслом, какой есть всегда и всегда будет в смерти... Моя идея оказалась бессмыслицей, и я познал её тайну... О-о! Это!.. Впрочем, что же об этом говорить. Разве же ты не понимаешь, что смерть – факт, а не бессмыслица... Смерть Китти – факт! А я и моя идея – бессмыслица. Ну, прощай! Приходи вечером.

И я ушёл от него с каким-то тревожным чувством на душе.

Вечером с посыльным я получил от Вансона письмо. Он писал:

«Милый мой, когда ты придёшь, ты не застанешь меня живым... Так случится со всеми, кто захочет познать тайну бессмысленного. Тайна бессмысленного в нас, кто не сумеет признать и принять жизни такой, какая она есть... Но принять жизнь вовсе не значит, что следует молчать, когда с тебя сдирают две шкуры. Это ты говорил когда-то, и я в это верил. И обратно, не принять жизни, значит – принять смерть, т. е. обратиться в новую тайну бессмысленного»...